

МНЕ НРАВИТСЯ наблюдать за внезапными скачками его мысли. Путешествовать с ним во времени, оказываясь то в 50-х, то в 20-х. У него взрывная манера общаться. Может, перебив собеседника, закричать: «Это не ты, родной мой!» Шуритесь, разговаривая, отчего возникает впечатление, будто над чем-то смеется. Над чем?

Революция ради сосиски?

— Я очень уважаю людей, которые хотят не получить, а отдать... А те, кто с красным знаменем шел в революцию, шли получить, шли отобрать и делить.

— Но, Владимир Дмитриевич, их же вел лозунг социальной справедливости.

— Родной мой, это неправда! Их вел лозунг — грабить... Зачем они были брошены в толпу? Это было сделано с явным знанием материала. Они пели: «кто был ничем, тот станет всем». Моя теща была воспитательницей детского сада около Кремля — в семнадцатом и восемнадцатом. Потом рассказывала: Россия голодала, а детям народных комиссаров в январе привозили свежую клубнику.

— Уже тогда привилегия?

— Да еще какие! «Революционные». И результат. Как-то стоял я в очереди за своим продуктовым заказом — как участник войны. Девела в нем не то, что хочешь, а что положено: закрутки в политлинии, кусочек черного мяса, а иногда — пакет гречневой крупы. И тут же, вижу, стоят большевики-ветераны за своими пайками. Значок у каждого — к 50-летию пребывания в партии. Заказы их получше — кроме всего прочего, свежие сосиски особого качества. И я подумал тогда: неужели они устраивали революцию ради этой сосиски?

— Утрируете.

— Конституцию, родной мой! Это смешно и трагично, но это так — кровь, репрессии, голод, нищета, потом привезли Сталина к юбилею, подписанные этими видными стариками. И все их подписи — ради гарантированных удобств. Ради этой разнородной сосиски! А знаете, что было бы, если бы не большевистский переворот? Все те купцы Мамонтовы и Морозовы, предприниматели-промышленники, кого с таким энтузиазмом расстреливали и ссылали, — они сейчас без чинов, лозунгов и шестий сделали бы Россию сильнейшим конкурентом Америки. И свобода не пострадала бы. Может, мы даже были бы впереди и наводили бы сейчас мир своими «тойотами», дубленками и зерном.

— Но ведь большевики стремились именно к такому изобилию...

— Мы разговаривали под диктофон в писательском кабинете Владимира Дмитриевича. Я здесь не первый раз, и неизменный кавардак — с удочкой за спинкой дивана, с завалами книг на полу и журнальным столиком — уже кажется мне естественно-необходимым. В паузе хозяин выдвигает из близстоящей стопки переиздание романа «Не хлебом единым», подписывает, громоздит на титуле непонятные иероглифы, объясняя: рука не очень твердая после инсульта, поэтому буквы — как матрешка на палубе попавшего в шторм корабля. Неизменен просторный письменный стол — стопка бумаг, на нем папка с записками, странное сооружение из табурета и привинченной к нему настольной лампы.

«Новый роман — рабочее название» — пишется не только на столе, а еще — на стене. Там возникает прикнопленные странички разных глав, обрывает словозаписки эпизодов и сюжетные линии, перекликаются диалоги. Так же, на двух плоскостях — горизонтальной и вертикальной, — создавался знаменитый теперь роман «Белые одежды», отмеченный Государственной премией 1988 года. Помню, как в конце 1986-го, еще нигде не опубликованный, он, ксерокопированный, ходил по рукам. Передавали его только друзьям, еще не уверенные, что он не попадет в разряд ослепших книг, но уже в «Неве» готовились к выходу первая публикация и с цензурой у редакции шла борьба не на жизнь, а на смерть.

В тот драматический момент я и оказался впервые в кабинете Дудинцева. Мы говорили о четком очерченном в его романе слое людей, — обладающих властью, о главном героине-тенетике Фредо Держкиной, знаешь: его расшатывает убеждения, если он не обладает властью и не имеет денег. И, конечно, говорили о перестройке. Наша беседа «в «Знак», что же «ПРОТИВ!» появилась в «ЛГ» в начале 1987-го вместе с началом публикации романа. Сейчас, перечитывая ее, я думаю, как быстро публикация становится хроникой минувших дней — сегодня вопрос в заголовке звучал бы через риторичность.

Те, кто был тогда против перемен, теперь «вышли из окопов». Они с новым пафосом говорят о «социальном выборе». Они готовы снова пойти по старому кругу — кровь, репрессии, голод, нищета, тотальное вранье, преследование иннакомыслящих. Вместо того чтобы встретиться в недавнем прошлом, ужаснуться абсурдности этого кругового движения и подняв библейский мудрец, который восклицает: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было и Бог воззовет прошедшее».

Был ли Экклезиаст популистом?

— Дело в том, — продолжает Владимир Дмитриевич, — что большевики создали систему, не способную эволюционировать. Она должна съест сама себя. Или — взорваться.

— Значит, ошибка в конструкции?

— Да, другой конструкции у них быть не могло! Она была в основной идее. Власть захватили люди, жаждавшие благ материальных, что бы они там на своих транспарантах ни писали. А эта жажда, когда она исходит из руководящего корпуса, не может быть двигателем эволюции. Она лишь вносит в процесс разрушения. И разочарование в сердцах тех, кто был очарован.

— Но Мамонтовы и Морозовы, весь тот вырубленный класс собственников, тоже не чурался материальных благ.

— Не чурался. Но смотрите, какое «но!» Купец Третьяков оставил нам Третьяковскую галерею. А купец Солдатенков и купец Морозов построили народу больницы, равные городам. Солдатенковская названа, к сожалению,

не в честь ее строителя, а Боткинской. Эти «толстосумы», так их ругательно называла пропаганда, не только строили заводы и железные дороги, открывали пародические товарищества и магазины, носящие их имена... Вот, кстати, феномен: как большевики ни старались, не смогли выкорчевать из памяти людей названия, ставшие историческими: Морозовская детская больница, гастроном Елисеевский, булочная Филиппова! Именно «толстосумы» были знаменитыми издателями. Переводили и печатали Маркел А и х — к ногтю! Они собирали и оставляли своему народу в роскошных дворцах шедевры искусства... Ставились почетными членами учебных заведений. А какое образование давали своим детям? И те потом становились настоящими интеллигентами.

— Как Брюсов и Станиславский...

— И — Чехов! Он тоже из семьи купца... Я хочу сказать: именно через обладание вещами, через владение богатством человек приходит к жажде моральных благ.

— Это не я открыл. Это тот самый библейский мудрец. Вот примерный смысл того, что он говорит: «Я Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я предпринял большие дела: построил себе дома, посадил виноградники, собрал себе серебра и золота, и сделался великим и богатым. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им. И оглянувшись я на все дела мои: и вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем...» Словом, не насытился царь жизнью и всеми своими благами. Оказывается, мало человеку материальных благ. Все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается. И встал старик царь благ друзей и верности, захотел творить добро для других. Отдавать! Как Солдатенков с Морозовым! А замороченный большевиками пролетарий, руками которого сломали прежнюю жизнь, шел брат, брат... У Петрова-Водкина есть картина «Новоселье». Это исторический документ: внутренние покои дворца, высокие потолки, лепнина с золотыми розводами, портреты бывших владельцев на стенах — и новые жильцы с потрепанными чмодами, захватившие эту роскошь... Вот и вышло: объявили войну дворцам, чтобы занять и строить себе новые.

Но ведь большевики в большинстве своем искренне пытались сделать всех одинаково счастливыми.

— Никакого равенства не вышло у них, никакого счастья для всех. Зная дворцы, тут же бросали своих протестарских женщин и брали себе девочек из аристократических семей, которых ранее провозглашали грабими глазами. Позволили и новые дворцы — не только роскошные дачи в заводских местах для новой элиты, для ее новой жизни. Разве не дикость?

Владимир Дмитриевич на минуту выходит — сказать насчет кофе, а мне вспоминается. Вычитал как-то у Ницше в его «Воле к власти» пророчество, сделанное им в 1887 году: идея коммунистического равенства захватит воображение многих, и кровавый опыт Парижской коммуны покажется временными коликами по сравнению с катастрофической болезнью, которую предстоит пережить народам. Но собственник в человеке в конце концов возьмет верх; идея, рожденная болезненным раздражением ума, умрет, унеся с собой в бытие миллионы жизней.

Пророчество Ницше сбылось, но болезненное раздражение ума еще не совсем и не у всех прошло. Правда, оно теперь много наивнее. Это уже не иллюзия перехода в царство свободы, мимуса собственности. Это надежда на то, что сплоснившая структура порабощения ума и воли людей еще жизнеспособна, еще могут продлить дни управленческой элиты. Наставший эгоизм слеп. Те, кто сейчас «вышел из окопов», слегка подправив лозунг на «идею порядков», по-прежнему не видят, что их система смертна, несет в себе зародыш своего уничтожения. И атакуют тех, кто ВИДИТ, тех, кто прозрел в недрах этой системы и пытается изменить ее.

Те, прозревшие, заявили о себе не сразу. Они, как герой романа Дудинцева из «Белых одежды» Дежкин, камуфлировались «под систему». Тайные оппозиционеры, они лишь после апреля 1985-го стали явными. Мы сейчас видим и слышим их — на телеэкранах и митингах. Многие из них обрели невиданную раньше популярность.

Оппозиция Дежкиных

— Вам не кажется, что и власти приходит Дежкины? — спрашиваю Дудинцева. — И если раньше они были в тайной оппозиции к системе, то, обретая власть, оказываются в оппозиции к самим себе?

— Кто в оппозиции к себе? Попов? Собчак? Ельцин? Не думаю. Они же и реально-то властью пока не обладают. Рыцари власти остались у прежней, немного подновленной номенклатуры.

А Горбачев? Он как-то признался: еще в 1980-м вместе с Шевардnadze понял, что необходимы реформы. Но прошло пять лет, прежде чем громко заявил об этом. Завыл же категорически: необходимые реформы, революционные перемены.

— Но на деле-то выяснилось: его реформы направлены на усовершенствование и укрепление все той же системы. И как только процесс пошел чуть дальше, сам реформатор оказался именно к нему на оппозиции. Мне не забыть его самоуверенных жестов по адресу академика Андрея Сахарова. Никола не забыть! Я помню, транслировал по ТВ заседание Президиума старого еще Верховного Совета, и председатель, раздраженный оппонентами, вдруг повысил голос на пожилого армянского профессора... Я тут же вспомнил, как в конце пятидесятых на меня из президиумов кричали литературные начальники. Так же точно багровели.

— Это можно объяснить нервной перегруженностью.

— Можно. Только мне кажется, что в таких подробностях проявляется иная патология. Подлинная сердцевина человека. Система, от которой он отрекается, вдруг в нем сама себя вспоминает. Кровь бросается в лицо, звучат грубые партийные слова. Как на партозактиве в каком-нибудь областном городе. Это же родовая черта авторитарных руководителей — нетерпимость к иному мнению. Именно оно и хваляет, я сказал бы, блеска чужести к человеку, когда начинаешь чувствовать себя на месте своего оппонента и, прежде чем произнести слово, знаешь, что оно оскорбит, знаешь, как оскорбит, начинаешь как бы болеть от того оскорбления и не произносишь его. Авторитарный руководитель не способен на такую рефлексию.

— Да, но именно Горбачев первым сказал о необходимости плюрализма мнений, о новом мышлении.

— Я думаю, что время от времени в нем бывал такой диалектический поворот. Особенно когда он за границей. Его осеняет вдохновение, он выступает там очень горячо. А возвращается домой, он снова попадает в знакомые магнитные поля. Те самые, из которых ушли бывшие его соратники, не желавшие укреплять прежние структуры под якобы демократической вывеской.

— А может, мы черезчур много ждали от Горбачева? Он же сделал то, что мог. Ведь не может человек быть полностью свободным от системы, в которой сформировался.

— Полностью нет. Вот Ельцин тоже не полностью свободен. Но освобождается — это опыт мой гипотеза. Когда Ельцин заговорил о привилегиях, я понял: он хочет отдавать.

— Политические противники Ельцина квалифицируют его действия как популистские.

— Неужели такой человек, как Морозов, мог строить детскую больницу ради суетного успеха? Желко, мы не знаем, что говорили про Солдатенков недоброжелатели. Также, наверно, видели его щедрости желание приобрести де-

лать 1500 стрелами. Морально или не морально поступил Святой Себастьян, обманывая жестокого царя Диоклетиана? Да он внутренне был свободен — качественно свободен! — и использовал свою свободу, как меч против зла. Таков и мой Дежкин со своей тактикой сохранения свободы как качества души.

— Сотворив своего Дежкина, вы, Владимир Дмитриевич, наверняка наделили его собственным опытом обретения качественной свободы. Не так ли?

— Он родился в 1918-м на Украине. Его отец, Байнова Семена Николаевича — царского офицера, штабс-капитана, расстреляли только за то, что, верный присяге, не сдал погоню. «Дед умер в тот же год, бабушку расстреляли в упор, мать расстреливали со мной на руках», — рассказывает Владимир Дмитриевич. — Но она успела схватиться за ствол, опустила его вниз, и старший, руководивший расстрелом, сказал: ладно, мол, хватит...» «Значит, вы не Дудинцев и не Дмитриевич?» — спрашиваю. — Да, это фамилия и имя моего отца. Кто расстреливал? Не знает. Тогда на Украине было множество «батен» со своими отрядами, все они воевали «за революцию» и все друг друга убивали. Произшло это на Харьковщине, в деревне Жихаревка, где у его матери Клавдии Владимировны Жихаревой было свое, потом конфискованное имение. Со зна-

«Раз уж в тоталитарном государстве жизнь человека ничего не стоит, то нужна ли ему и свобода?.. Зачем? Об этом разговор с писателем ведет Игорь ГАМАЮНОВ.

шевый авторитет. Что бы ни говорили про Ельцина, для меня внутренне лицо Бориса Николаевича объективно представлено в его «Комедии»: Силва, Хасбулатов и Шехрай. Они, как воплощенные черты его характера, естественные — их подобрала сама природа. И так же естественно, объективно подобрал его противники, недоброжелатели. Я много раз видел на трибуне чрезвычайного съезда ВФРС миловидного депутата с эспаньолкой. Прежде чем сказать Ельцину очередную пакость, он складно и предвкусительно улыбался, и я, видя его улыбку, уже начинал страдать. Любуясь им, я вспоминал строки Алексея Толстого: «с земной улыбкой, с девичьей красой любимец зовит Иоаннов, — отверженный богом Басмаков».

Ельцину считают политическим игроком — вышедшим из КПСС, потому что ему это было политически выгодно. Припоминают, что в бытность свою секретарем Свердловского обкома производил такие же партийные речи, как все остальные номенклатурщики.

— Хорошо, если бы еще припомнили, что могло быть в те годы с пертийным работником, посвятившим в своем выступлении отклониться от стандарта. Человек, осознавший, что живет в системе зла, причем коварного зла, беспощадно уничтожающего непокорных, должен воевать с этим злом его же оружием. Должен порезать его таким коварством, каков ему и не снился.

— Как ваш генетик Дежкин, притворившийся лысенковцем?

— Один читатель прислал мне письмо, в котором утверждает, что в вооружил его инструментарием свободы. То есть способ защиты — своего «я» у Дежкина — это единственная возможность сохранить себя в тоталитарном государстве. Себя, своих товарищей и свое дело.

— В прессе, я помню, возник спор о вашем герое: морально или не морально использовать в борьбе со злом его методы?

— И я в этом споре утверждал: все зависит от того, чего ты добиваешься в конечном итоге. Блага для себя? Или — для других?

— Но ведь тогда получается — цель оправдывает средства.

— В этой формуле таится порок. Он способствует торжеству зла, удерживает от доброго поступка. Ведь суд, разбирающий чье-нибудь преступление, старается понять субъективную сторону: предвидел ли человек вредные последствия деяния, желал ли их наступления? Судью интересует умысел, цель преступления. Если же речь идет о доброй цели, то нравственный оценщик, живущий в нас, опять-таки спросит: предвидел ли субъект благие последствия, желал ли избавиться чью-то душу от страдания? Что же касается средств, которыми добрый человек достигает своей прекрасной цели, то законно применить такое рассуждение: инструмент, как известно, индифферентен, его нельзя ни обвинять, ни оправдывать. То же мы говорим и о средстве. Похвала адресуется не дающей руке, а щедрой душе, побуждению, которое придало поступку нравственную высоту.

Меч против зла

— Помните легенду о Святом Себастьяне? — продолжает Владимир Дмитриевич. — Был такой телохранитель у царя Диоклетиана, гонителя христиан, сжигающего их на кострах и бросавшего в ров львам на съедение. Бог осенил Себастьяна, и он, притворясь язвником, стал обращаться в христианство царскую гвардию — крестил 1500 солдат-язычников. За это Диоклетиан велел приязнать его к столбу и расстре-

— это породившие тьмы, что он несет в себе диалектическое начало собственного разрушения.

— А когда окончательно понял?

— В конце войны я был следователем военной прокуратуры. Однажды пьяный солдат, герой ордена Славы, вышел на станции из эшелона, следовавшего на Дальний Восток, и застрелил инженера. Приезжаю, а командование спрятало солдата неизвестно в каком вагоне. Ищу. Смотрю — весь эшелон пьяный. Пущи заржавели, заперлены на платформах неправильно. Распорядился, чтоб переключили эшелон на запасной путь. Вышел прокурор. Он явился, и тут же как убийцу выдвали. Я требую, чтоб медики освидетельствовали командование, а оно в дым пьяное. И тут прокурор мне говорит: ладно, Володя, отпусти их, они же воевать едут. И — куда-то исчезает. Я бегаю вдоль эшелона, ищу его, мне шепотом подсказывают: в командирском вагоне. Бросаюсь туда — часовой не пускает. Кричу: доложи. Заводят меня внутрь. Вижу — вагон обит изнутри мехами, на полу — шкуры белых медведей, мебель красного дерева, пианино, картины на стенах. А стол заставлен бутылками и едой. Сидят комбриг и прокурор с командией военных. И мой прокурор, побарбосавший уже от выпитого, говорит: «Тут вот начальник контрразведки «Смерш» тебя в свой вагон приглашает». И меня ташат в другой вагон — там та же картина, кормят, заставляют выпить. Начальник открывает чмода, а в нем серебряные портсигары, отделанные драгоценными камнями: «Бери». Я не взял ни одного. Ушел.

— Портсигары конфискованные?

— Награбленные, немецкие. Потом мой прокурор с Дальневосточного фронта увестивую посылку получил — мне было поручено доставить ее к нему в кабинет и распечатать. Там оказались рулоны японской ткани, на них — бирки с фамилиями генералов нашего округа. А через какое-то время смотрю — их жены в платьях из той ткани эшелона.

— Допустим, вы тогда взяли бы портсигар. Можно же было себя оправдать экстраординарными обстоятельствами.

— Оправдать можно, но вернуть себе ощущение внутренней свободы уже нельзя.

Визит на Лубянку

— Я был второкурником, когда меня первый раз допрашивали на Лубянке. Смотрю, протокол печатают на машинке. А тогда в примечании к уголовно-

процессуальному кодексу говорилось — надо писать от руки. Я говорю: товарищ лейтенант, нарушаете, нельзя механическими средствами. Он расхохотался, спрашивает: «Что там еще твой закон говорит?» Был изумлен моим простодушием.

— А чего он от вас добивался?

— Показаний на арестованного соратника Володю Чеховского. Ловил меня на оговорках. Спрашивает: «Говорили с ним о комсомоле?» Я: «Он не был комсомольцем». Лейтенант: «Откуда знаешь?» Объясняю: шел на собрание, спросил его, идет ли, а он махнул рукой — я, мол, не комсомолец. Лейтенант, как бульдог, впился в эту подробность: «Значит, махнул рукой? С предубеждением, конечно? Презирал комсомол?» Я лейтенанту: «Не искажайте». А он мне: «Чего нос задрал!» И — ребром ладони по носу. Опущую голову, а он мне: «Чего морду опустил!» — и ребром ладони — снизу. Пока кровь не пошла.

— Что же было с Чеховским?

— Выступили его через год. На третьем курсе, помимо выхожу на переводы, а в толпе студентов мой Володя. Он ко мне с криком: «А-а, студент, здоров!» Объясняю, как там. Ручкой махнул. Тут звонок на лекцию. А после нее мы с ним столкнулись в столовой, как бульдог, ко мне: «А-а, студент, здоров!» Я — ему: мы же выжили. Он лодово опустил, мотает, признается: «Память мне там отбил». Но на следующую перемену повторилось то же самое — он кинулся ко мне, как в первый раз. И я понял: парня угробили. Хорошего парня. Тогда я только начинал догадываться, что большевизм

— это породившие тьмы, что он несет в себе диалектическое начало собственного разрушения.

— А когда окончательно понял?

— В конце войны я был следователем военной прокуратуры. Однажды пьяный солдат, герой ордена Славы, вышел на станции из эшелона, следовавшего на Дальний Восток, и застрелил инженера. Приезжаю, а командование спрятало солдата неизвестно в каком вагоне. Ищу. Смотрю — весь эшелон пьяный. Пущи заржавели, заперлены на платформах неправильно. Распорядился, чтоб переключили эшелон на запасной путь. Вышел прокурор. Он явился, и тут же как убийцу выдвали. Я требую, чтоб медики освидетельствовали командование, а оно в дым пьяное. И тут прокурор мне говорит: ладно, Володя, отпусти их, они же воевать едут. И — куда-то исчезает. Я бегаю вдоль эшелона, ищу его, мне шепотом подсказывают: в командирском вагоне. Бросаюсь туда — часовой не пускает. Кричу: доложи. Заводят меня внутрь. Вижу — вагон обит изнутри мехами, на полу — шкуры белых медведей, мебель красного дерева, пианино, картины на стенах. А стол заставлен бутылками и едой. Сидят комбриг и прокурор с командией военных. И мой прокурор, побарбосавший уже от выпитого, говорит: «Тут вот начальник контрразведки «Смерш» тебя в свой вагон приглашает». И меня ташат в другой вагон — там та же картина, кормят, заставляют выпить. Начальник открывает чмода, а в нем серебряные портсигары, отделанные драгоценными камнями: «Бери». Я не взял ни одного. Ушел.

— Портсигары конфискованные?

— Награбленные, немецкие. Потом мой прокурор с Дальневосточного фронта увестивую посылку получил — мне было поручено доставить ее к нему в кабинет и распечатать. Там оказались рулоны японской ткани, на них — бирки с фамилиями генералов нашего округа. А через какое-то время смотрю — их жены в платьях из той ткани эшелона.

— Допустим, вы тогда взяли бы портсигар. Можно же было себя оправдать экстраординарными обстоятельствами.

— Оправдать можно, но вернуть себе ощущение внутренней свободы уже нельзя.

«Был жив Сталин

Его первый роман «Не хлебом единым» о гонимом изобретателе Лопатинском роман о внутренней свободе человека живущего в тисках тоталитарной несвободы. Дудинцев писал его в начале пятидесятых. Вспоминает: «Тогда еще жив был Сталин. Я писал и боялся, что меня посадят. Боялся, но выработал шифр для тайных записей. Я был качественно свободен».

— Когда, будучи корреспондентом «Комсомольской правды», рассказывает Владимир Дмитриевич, — я познакомился с несколькими изобретателями, с их страшными судьбами, и один из них, мой друг, автор машины для проходки шахт, отвергнутой у нас, но принятой за рубежом, застрелился, я вдруг увидел в действии закон: природа извергает из своего тела инородные предметы. Все новое, всякий прогресс, полезную новинку, всякую истину наша система гнала. И таким образом — потребность всегда говорить правду... Одно время это казалось большим недостатком. А сейчас понимаю: комплекс дитяти — это же образ свободы, живущей в человеке. Образ, помогающий вырасти в душе свойства, которое я называю качественной свободой. А с ней можно пережить и преодолеть любую обстоятельную несвободу.

— Дайте тюрьму?

— И тюрьму тоже.

— Он шуритесь, отвечая, и колочий его взгляд из-за очков кажется смеющимися.

— это породившие тьмы, что он несет в себе диалектическое начало собственного разрушения.

— А когда окончательно понял?

— В конце войны я был следователем военной прокуратуры. Однажды пьяный солдат, герой ордена Славы, вышел на станции из эшелона, следовавшего на Дальний Восток, и застрелил инженера. Приезжаю, а командование спрятало солдата неизвестно в каком вагоне. Ищу. Смотрю — весь эшелон пьяный. Пущи заржавели, заперлены на платформах неправильно. Распорядился, чтоб переключили эшелон на запасной путь. Вышел прокурор. Он явился, и тут же как убийцу выдвали. Я требую, чтоб медики освидетельствовали командование, а оно в дым пьяное. И тут прокурор мне говорит: ладно, Володя, отпусти их, они же воевать едут. И — куда-то исчезает. Я бегаю вдоль эшелона, ищу его, мне шепотом подсказывают: в командирском вагоне. Бросаюсь туда — часовой не пускает. Кричу: доложи. Заводят меня внутрь. Вижу — вагон обит изнутри мехами, на полу — шкуры белых медведей, мебель красного дерева, пианино, картины на стенах. А стол заставлен бутылками и едой. Сидят комбриг и прокурор с командией военных. И мой прокурор, побарбосавший уже от выпитого, говорит: «Тут вот начальник контрразведки «Смерш» тебя в свой вагон приглашает». И меня ташат в другой вагон — там та же картина, кормят, заставляют выпить. Начальник открывает чмода, а в нем серебряные портсигары, отделанные драгоценными камнями: «Бери». Я не взял ни одного. Ушел.

— Портсигары конфискованные?

— Награбленные, немецкие. Потом мой прокурор с Дальневосточного фронта увестивую посылку получил — мне было поручено доставить ее к нему в кабинет и распечатать. Там оказались рулоны японской ткани, на них — бирки с фамилиями генералов нашего округа. А через какое-то время смотрю — их жены в платьях из той ткани эшелона.

— Допустим, вы тогда взяли бы портсигар. Можно же было себя оправдать экстраординарными обстоятельствами.

— Оправдать можно, но вернуть себе ощущение внутренней свободы уже нельзя.

«Был жив Сталин

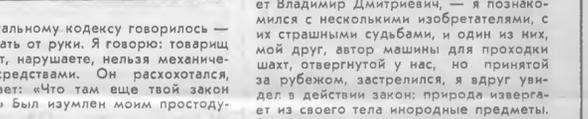
Его первый роман «Не хлебом единым» о гонимом изобретателе Лопатинском роман о внутренней свободе человека живущего в тисках тоталитарной несвободы. Дудинцев писал его в начале пятидесятых. Вспоминает: «Тогда еще жив был Сталин. Я писал и боялся, что меня посадят. Боялся, но выработал шифр для тайных записей. Я был качественно свободен».

— Когда, будучи корреспондентом «Комсомольской правды», рассказывает Владимир Дмитриевич, — я познакомился с несколькими изобретателями, с их страшными судьбами, и один из них, мой друг, автор машины для проходки шахт, отвергнутой у нас, но принятой за рубежом, застрелился, я вдруг увидел в действии закон: природа извергает из своего тела инородные предметы. Все новое, всякий прогресс, полезную новинку, всякую истину наша система гнала. И таким образом — потребность всегда говорить правду... Одно время это казалось большим недостатком. А сейчас понимаю: комплекс дитяти — это же образ свободы, живущей в человеке. Образ, помогающий вырасти в душе свойства, которое я называю качественной свободой. А с ней можно пережить и преодолеть любую обстоятельную несвободу.

— Дайте тюрьму?

— И тюрьму тоже.

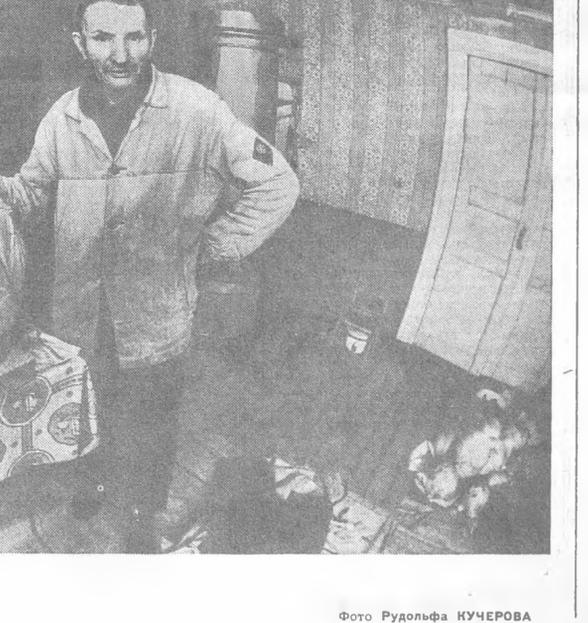
— Он шуритесь, отвечая, и колочий его взгляд из-за очков кажется смеющимися.



Владимир ДУДИНЦЕВ



Владимир ДУДИНЦЕВ



Владимир ДУДИНЦЕВ

Живу и помню...